

Не читал, но скажу

Сегодня -
1996. - 23 янв.
с. 5.

Андрей Битов: правила игры без правил

Александр Архангельский

На исходе холодного декабря 1995 года литературная Москва узнала важную новость: Андрей Битов — один из самых серьезных прозаиков поколения 60-х — пишет для русского «Плейбой» роман с продолжением. А в начале января 1996-го в программе НТВ «Герой дня» появился сам Битов. Он не оправдывался, — и очень хорошо, что не оправдывался; он вообще не столько объяснялся с публикой, сколько наедине с нею устало объяснял сам себе, зачем пошел на столь экстравагантный шаг. И — перебирая всевозможные варианты ответа (западные «классики» XX века не стыдились «Плейбоя»; надо же как-то кормиться; а почему бы и не попробовать...), в конце концов вернулся к своему давнему тезису о праве и обязанности писателя на риск и ошибку.

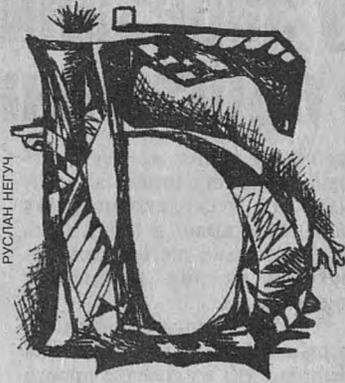
Наутро злые языки предложили свои объяснения. Кто говорил, что от Битова уходит слава, а без выверта не станешь героем дня; кто — обыгрывая эротический мотив — толковал о пресыщенности опытного сочинителя: связь со старыми журналами уже не возбуждает творческий пыл, приходится искать что-нибудь новенькое, свеженькое, влекущее... Не знаю, так ли это; знаю лишь, что прочту новый роман прозаика, некогда ставшего частью моей читательской биографии, не раньше, чем выйдет отдельное издание. Если вообще — прочту. И не столько потому, что брезгую «Плейбоем» как таковым, сколько потому, что оскорблен интеллектуальной двусмысленностью положения, в которое ставит меня Андрей Георгиевич Битов.

Ибо хочет он того или нет, — но результатом его журнального предпочтения оказывается лабораторная, экспериментальная ситуация, в которой и носителям элитарно-плебейской, плейбойской культуры, и прежним битовским читателям, обитателям лучшего его романного строения, «Пушкинского дома», — отводится роль подопытных кроликов. Любителям глянцевого поз будет столь же дико наткнуться на кислотно-едкую, выразительно вялую прозу запоздалого модерна, сколь противно «пушкинодомской» публике — барахтаться в сладкой грязи утонченного соблазна и вылавливать из нее художественные перлы. (Допустим, что перлы.) Может быть, всему виной мое излишне впечатлительное воображение, но так и вижу фигуру любопытствующего Литератора, что подобно герою пушкинского романа завис над городом без крыши и вместе с услужливым Бесом изучает интимные подробности читательской жизни.

Нет, все-таки лукавил Андрей Георгиевич, когда кивал на западных коллег по ремеслу; прекрасно понимал ведь, что есть непроходимая разница между вызовом омертвевшего пуританства или даже божемной тусовки среды обнаженной натуры, — и четко организованной сшибкой читательских ощущений; что есть нравственная пропасть между вызывающим поступком (сколько угодно отвратительным), сладострастным парением в бездне (куда не увлекут посторонних) — и затейной им *игрой без правил*. Я вовсе не собираюсь в очередной раз пускаться в рассуждения о «пророческом» призвании русской литературы, о ее «служении» — или отрицать ее игро-

вую природу. Не только потому, что Битов всю жизнь посмеивается над философией общего культурного дела, — но и потому, что с ужасом наблюдаю, до какой пародийной пустоты исчерпали себя те битовские сверстники, которые свели литературу к набору этически полезных, религиозно или социально «верных» трюизмов; те, для кого пушкинианство и «пушкинодомство» свелись к фарисейским *правилам без игры*. Но, честное слово, если в каком-нибудь страшном сне мне не удастся отклонить выбор между двумя этими тупиками, я скорее предпочту второй.

Помнится, ведущий (которому «Плейбой» скорее близок, чем далек! тем убийственнее попадание в точку) спросил «героя дня»: а как же ваши прежние ценители? они ведь почувствуют себя обманутыми? что вы им-то скажете? Ничего не скажу, — отклонил тему писатель; почему я вообще должен перед ними оправдываться? Где все они были с 1976-го по 1986 год, когда я сосал лапу? когда не мог пробить «Пушкинский дом» через цензуру? Они молчали, когда происходила передача рукописи в «Ардис», — и пусть ведут себя так же при передаче рукописи в «Плейбой». И вообще — литература не признает обязательств, не знает верности, не держит слова, — ибо никому не обязана его



ПИСАЛН НЕПЧУ

давать. И тут же разговор свернул на приятные воспоминания о берлинской стипендии, позволившей завершить роман «Ожидание обезьян» (а значит, и всю трилогию «Оглашенные»). Ведущий вновь поступил единственно верным образом: деланно разыграл изумление. Как? вы не обязаны были представить рукопись — и все-таки ее представили? а не было соблазна просто побездельничать, погулять на чужой счет? И вновь ответ был преисполнен чувства собственного достоинства. Ленишься все мы рады, — но заматать работу было бы стыдно именно потому, что никто ничего не требовал; люди дали деньги ни за что — не дописать роман было бы некрасиво; это значило бы проявить неуважение не только к ним, но и к себе.

Деньги — вещь важная; это не подлечит обсуждению; безвозмездная щедрость западных (и едва зарождающихся российских) меценатов восхитительна; получить в подарок *возможность работать* и не использовать ее — и впрямь неблагоприятно и неблагоприятно (чтобы не сказать: глупо). Но в рассуждение Битова закрадывается существовавшее противоречие, некий логический порок: если писателю советственно перед теми, кто ныне бескорыстно платит, почему не советственно перед

теми, кто любил его все минувшие годы, — и наоборот; отчего в отношении с читателями любые высокие слова об уважении и верности (не о служении, заметим!) — смешны и неуместны, а в отношении со «спонсорами» — хороши весьма?

И если бы все это касалось одного только Битова, который, судя по другому его интервью, данному в Нью-Йорке и напечатанному «Московским комсомольцем» 10 января, давно уже признал зависимость морали от денег и ни о чем другом, кроме как о блаженстве позднесоветских времен, когда его наконец-то перевели на положение Прокурина и Иванова, ни думать, ни говорить не в состоянии (увы, даже логика ему отказывает: начав с того, что ни одной книги за последние годы у него не вышло — и поэтому он *вынужден* печататься в «Плейбое», Битов завершает рассказом о недавнем петербургском издании «Оглашенных»)! Если бы все это касалось одного только Битова — можно было бы и промолчать. Но, кажется, большая часть российского литературного истеблишмента мыслит именно так. Многие, слишком многие, перескочив со всей своей советскостью в рынок, готовы стать дресированными бунтарями — то есть раздавать пощечины поклонникам и улыбаться покровителям. Многим, непрестительно многим, показалось, будто все представления о *литературных приличиях*, о красивых и некрасивых поступках, не то чтобы совсем отошли в прошлое, но четко и словно дифференцировались; что этика творческого поведения отменена этикой деловых отношений.

Между прочим, в XX столетии российская интеллигенция уже проходила через подобное (конечно же, гораздо более страшное и опасное) искушение.

Мы помним, чем ей пришлось заплатить за отказ от традиционной системы ценностей в пользу революционной морали.

Помним и прошлый шепот Александра Блока, который пытался удержать в памяти — даже не образ, а только звук ускользающего имени:

*Имя Пушкинского Дома
В Академии Наук!
Звук понятный и знакомый,
Не пустой для сердца звук!
Это — звоны ледохода
На торжественной реке,
Перекличка парохода
С пароходом вдалеке.*

В этом звуке, как одном из Божественных имен, была заключена Вселенная, с которой Блок всю жизнь разрывал, но с которой неизменно возвращался — ибо утратить ее значило утратить — себя самого. И, главное, в ту эпоху — эпоху *пришествия обезьян* — именем Пушкинского Дома аукалось пространство *тайной свободы*, изменяя которой, художник совершает духовное самоубийство.

*...Вот зачем такой знакомый
И родной для сердца звук —
Имя Пушкинского Дома
В Академии Наук...*

Помним мы и горькие стихи Анны Ахматовой:

*Когда он Пушкинскому Дому,
просясь, помахал рукой...*

Дальше цитировать не буду. Потому что дальше говорится об Александре Блоке, а не об Андрее Битове.